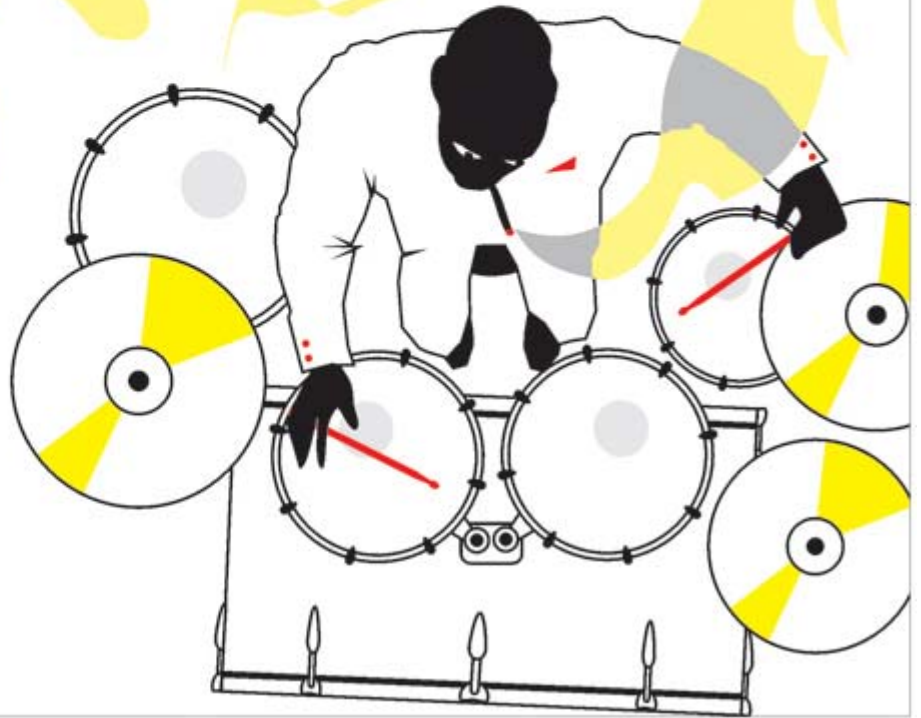




Игорь БЕЛОВ
родился в 1975 году
в Ленинграде,
в Калининграде
проживает с 1988 года,
окончил Калининградский
государственный
университет.
Публикации в журналах
«Запад России»,
«Балтика»,
«Литературная учёба»,
альманахе «Насекомое»,
сборниках
«Молодые голоса»
(Калининград, 1999),
«Новые писатели»
(Москва, 2003),
«Пролог» (Москва, 2003),
«Поэзия Урала»
(Челябинск, 2003).
Участник 1-го
и 2-го Форумов
молодых писателей
России (семинар поэта
Кирилла Ковальджи).
Член Союза российских
писателей
и Калининградского
ПЕН-центра,
литературных
объединений
«Родник»
и «Ревнителю бренности».

ВЕСЬ ИГОРЬ ЭТОТ БЕЛОВ ДЖАЗ



Пишущих стихи – тьма тьмущая, поэтов – тоже тьма, но на порядок меньше. Самобытных же – просто мало. И всегда было мало.

Мне повезло: на первом Форуме молодых писателей России в Липках (2001), где я вёл так называемый мастер-класс, сразу выделилось несколько самобытных поэтов, и все из провинции (отрадно, что русская поэзия щедро произрастает талантами в областях, регионах, вокруг и вдали от центра). И среди них – Игорь Белов из Калининграда. Заслушался: густо, свежо, темпераментно! Современное барокко. Его стихи состоят не столько из смысловых единиц, сколько из красок и звуков, он – как живописец и музыкант, или, говоря по-нынешнему – создатель стихотворных клипов.

Но стихи перед вами – сами убедитесь. Они, хотя и тревожные, мятущиеся, доставили мне эстетическое удовольствие, не хочется его нарушать аналитическими рассуждениями. Талантливый поэт. Пусть пишет, печатается...

И всё-таки – можем мы извлечь хоть какие-то уроки? Позволю себе поразмышлять не о поэтической составляющей, а ещё о чём-то, сверх того. Потому что с талантливого поэта и спрос больше. Талант – от Бога, а вот личность, её развитие, рост – это зависит от самого человека. Читайте дневники молодого Льва Толстого: он себя казнит, грызет, терзает без всякой меры, занимается чуть ли не самоедством. Дело не в том – прав он или не прав.

Благодаря въедливой требовательности к себе он выросал больше себя самого, больше писателя – смысл жизни хотел постичь.

Но это в старости. Игорю Белову далеко до старости, потому неудивительно, что порой его стихи напоминают дерзкую образность молодых футуристов и имажинистов – то ли Маяковского, то ли Шершеневича:

*Вежливый ветер схватил верткую талию пыли,
В сумасшедшем галопе прыгая через бугры.
У простуженной равнины на скошенном рыле
Вздулся огромный флюс горы.*

1915.

Но шутки шутками, а серьёзность актуальной поэтической задачи в том, что требуется осмыслить совершенно особое, небывалое нынешнее время – обрести к нему отношение. Маяковский в свое время, например, сначала романтически бунтовал против действительности, потом воспевал революцию, Шершеневич же довольствовался литературными эскападами. Последний крупный поэт нашего времени – Бродский проводил двадцатый век скептической улыбкой усталого гения.

Но настало новое тысячелетие, жизнь продолжается. А с ней и поэзия, которую зря хоронят. Он живуча!

Игорь Белов остро чувствует болезненную драматическую смуту современного городского быта, растерянность, бесцельность и сильно, впечатляюще это выражает. У него есть все возможности стать большим поэтом, судьба его буквально поставила на стыке двух пространств – Западной Европы и России – порождения второй мировой войны, третины двадцатого века. Боль, которая особенно ощутима в бывшем Кенигсберге, проникла и в двадцать первый. А третины мира, известно, проходит через сердце поэта. Через «отдельно взятое сердце».

Кирилл Ковальджи

ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ

Когда весь двор забит оранжевой листвой,
уже нет разницы, что будет с нами завтра.
Ты только посмотри, вон там знакомый твой
наяривает джаз в кафе у драмтеатра.

Ах, летнее кафе, бегущая строка,
большой телеэкран и эхо стадиона!
Уносит прошлое гниющая река,
лежащая среди промышленных районов.

Но только с музыкой и это не беда.
Оркестр покурит и настроит инструменты,
сыграет что-то очень нежно, и тогда
вернёт любви твоей счастливые моменты.

Играть он будет, не взглянув на календарь,
покуда время, что всему идет на смену,
в прямой эфир радиостанции «Янтарь»
своим дыханием не сдует с кружки пену.

И этот день не ждёт, промокший, золотой,
мелодию свою он обрывает, дурень.
Он паузу берёт. И до сих пор в пивной
про белый теплоход поёт Антонов Юрий.

ЕРАЛАШ

Неделя до каникул.
Вся жизнь — как на ладони.
А ты с открытой книгой
сидишь на подоконнике,
до одури красивая,
в отстиранной до блеска
рубашке, юбке синей,
сняв галстук пионерский.
Был зелен школьный сквер.
Мне снились на уроках
Дантон и Робеспьер,
патлатые, как рокеры,
но где теперь, дружок,
страна моя и школа?

Адреналин, ты сжёт
героев рок-н-ролла,

и тень ложится на
их лица, чуть живые.
Другая им цена,
и мы — совсем другие.
Так редко, стороной,
кивнув чужой свободе
обритой головой,
вчерашний день проходит,
не расправляя плеч,
не опуская ворот,
но для нечастых встреч
уже и это — повод.

Ну, вспомни — целый мир:
неслыханное будущее,
зачитанный до дыр
роман несуществующий,
погасшая звезда,
рифмованные жалобы,
большие города,
магнитофоны ржавые,
зеленоградский пляж
с забытым полотенцем —
весь этот ералаш
в отдельно взятом сердце.

Верни его, и пусть
звучит над променадом
припев, что наизусть
ты помнила когда-то.
Плюнь на взаимосвязь
судьбы и нервных клеток,
любовь не удалась —
станцуем напоследок.
Пусть, вырубая свет
и не жалея легких,
хрипит живой концерт,
зажёвывая плёнку,
а с фотографий выцветших
глядят на этот праздник
от праздников отвыкшие
друзья и одноклассники,
святые и подонки,
скучающие зрители —
мальчишки и девчонки,
а также их родители.

Синий фрак — за стеклом, а метель до сих пор горяча,
подморожен рукав, в луже радуга пахнет бензином —
это битой посудой звенит под ногами печаль,
разбазарив добычу и стол на себя опрокинув.

Все одно к одному — точно туфельки тают в снегу,
и уже воротник накрахмален до дыр менюэтом,
и в сочельник окно догорает на каждом шагу —
всё повалится на пол, в дверях сквозняком пообедав.

Лотта, вам ли любить до рождественских первых морщин?
Надавайте-ка лучше пощёчин беззубому веку —
парика не снимает ваш почерк без веских причин,
но и хвастать не станет упрямой походкой калеки.

Нынче ночью от пороха разом седеет висок.
Чтоб набросок романа не мёрз у чужого порога —
отвернуться от пули, как молодость чья-то, босой,
над страницей всплакнуть, и остаться в живых — в эпилоге.

Последняя тяга раскуренной дури.
Подъезд неумыт и, как небо, нахмурен.
Растоптан окурок. Пора, брат, пора.
Мы вышли и хлопнули дверью парадной.
Сквозь ливень, бессмысленный и беспощадный,
спускаемся в чёрную яму двора.

Отдайте мне солнца отцветшую душу,
квартал, где есть липы и бронзовый Пушкин,
есть горькое пиво, а горечи нет.
Разбитая улица, радио хриплое,
а рядом — две местные девушки-хиппи,
гитара, оставленный кем-то букет.

В причёске цвели полумёртвые розы.
По воздуху плыл разговор несерьёзный.
Навстречу единственной в жизни весне
ты шла босиком по проспекту Победы,
дразнила прохожих, и целому свету
смеялась в лицо, позабыв обо мне.

Последних объятий рисунок печальный,
бухло и наркотики в сквере вокзальном —

всё это, как ты повторенья ни жди,
скрывают похлеще разлапистой тени
мазутом пропахшие воды забвения,
в которых весенние тонут дожди.

Библейская тьма в опустевшей квартире.
Я еду в троллейбусе номер «четыре».
Я вспомнил линялые джинсы твои,
глаза твои ясные, мир этот жлобский,
расхристанный голос с пластинки битловской,
поющий о гибели и о любви.

Открытое окно — как откровение,
и взгляд уже пренебрегает прозой.
Поэзия — лекарство внутривенное,
когда июнь чуть дышит под наркозом.

Я знаю, наше прошлое измерят
страницы, не имеющие возраста,
чтоб онемевшие каштаны верили
в отравленную гениальность Моцарта.

И мимо нас, стихами одурманенные,
брели войной подстриженные рощи,
вползал в сентиментальные романы
неуловимый призрак пугачевщины.

Нам подарил Мадрид ухмылку волчью,
и русский бунт нам вывернул карманы,
когда в подъезде, чёрно-белой полночью,
мне подставляла губы Донна Анна.

ДОННА АННА

Снег в октябре — всё равно, что удар ниже пояса.
Подмосковье болеет рассветом, и рассеивается туман.
Всё, что тебе остаётся — это восемь часов до поезда,
сюжет для повести и пластиковый стакан.

В твоём родном городе полгода стояла жара,
на вокзале цвела черёмуха и плакал аккордеон,
но наступают заморозки, печалится детвора,
беспольный оккупировав стадион.

Твои кавалеры бритоголовые дерутся на площадях,
проклиная буржуев и не сочувствуя алкашам,
а разговор о политике и прочих серьёзных вещах
давно уже пахнет смертью, как афганская анаша.

Анна, ночь на исходе, прошлого больше нет.
Ты придёшь на работу, оденешь белый халат
сестры милосердия, снова увидишь в окне
провонявший лекарствами листопад.

А всё остальное забыто — пережито, точней.
Лишь вспоминаются умершие от ран
собутельники мужа, сгинувшего в Чечне,
да застреленный бандитами Дон Жуан.

АРТЮР РЕМБО

Предчувствия — в форточку, зеркальце — прямо к губам,
которым в конверте уже не цвести незабудкой.
Клянись, что лестница больше не лопнет по швам,
а новый протез заласкает её не на шутку!

Как будто февраль — весь издёрган сонетом. Озноб —
на каждой скамейке, уже перепачканной мелом.
Беги же из дома, и хоть головою — в сугроб,
пока не изрублен в капусту бессонницей белой.

Сестрица, не помнишь ли — станция, вечер... Один.
И как не привыкнуть к пружинам чужого дивана,
когда не лохмотьями платят за дерзость витрин,
за хлеб, с подоконника брошенный отрокам пьяным.

Ни к чёрту ночлежки, а сердце её — как Париж,
когда наглотеется солнца больничная койка,
когда по утрам с забинтованных рифмами крыш
спускается вниз аромат баррикад и попоек.

А завтра — одеться; и поезд, и в профиль Верлен,
дожди, точно грипп, и одни лишь плевки в колыбели,
пока в синяках от панелей, окошек и стен
идти, унося на плечах миллиарды Брюсселей!

СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ

Мы убиваем время в кварталах, глухих и диких,
там, где кольцо трамвая и неземной рассвет,
там, где мятая скатерть цветёт пятнами от клубники
и о жизни в розовом свете

поёт кларнет.

Шляется по квартирам в моей дорогой провинции
музыка, из-за которой во двор забредает дождь.
Что же он все плетёт разные небылицы,
исцарапанный голос прошлого, мол, прошлого не вернёшь?

Ангел мой, расскажи, почему это так очевидно,
что, когда опустеют скверы, перепачканные листвой,
лето кончится, и, как следствие, обломается «дольче вита»,
и в лицо дохнёт перегаром город наш золотой.

Буду с грустью смотреть, шатаюсь во время оно
по усопшему этому городу, забуревшему от тоски,
как на улице на Воздушной своего компаньона
бьют ногами в лицо черножопые «челноки».

Вечер кажет кулак сквозь завесу табачного дыма,
но разбитые губы шепчут бережно, будто во сне:
«Я люблю тебя, жизнь. Я уверен, что это взаимно»,
и играет пластинка в распахнутом настежь окне.

Такси почти на взлёт идёт
сквозь дождь и ветер,
и радиоприёмник врёт
про все на свете,
и в свете этих миражей
и фар летящих
разлука кажется уже
ненастоящей.

Но всё развеется к утру.
Я стану снова
шатающимся по двору
глотком спиртного,
и горизонт сгорит дотла,
тоска отпустит.
Про эти, видимо, дела
с оттенком грусти,

да про лазурь над головой
и жар в ладонях
снимал кино любимый твой
Антониони.

Среди бульваров, площадей,
и глаз печальных
проходит жизнь, и нет вообще
ролей провальных,
льет улица простой мотив,
вздыхая тяжело,
в кинотеатр превратив
кафе-стекляшку.

Но что друг другу бы сейчас
мы ни сказали,
не будет в кадре жестов, фраз,
иных деталей,
и, строчкой в титрах вверх поплыв,
исчезнем сами
за жёлтым контуром листвы,
за облаками.

СЕРДЦЕ АНГЕЛА

Закурив сигарету, спускаешься в преисподнюю,
будто падая в шахту лифта, где самое интересное — впереди.
Она садилась в трамвай — джинсы, куртка на «молнии»,
фарфоровая улыбочка ангела во плоти.

В трущобах потрошили кур и воскрешали мертвых,
чернокожий гитарист отплясывал у костра.
Тебе мерещилась пентаграмма на женских бёдрах —
татуировка, исчезающая по утрам.

Ты приезжал к ней в гости на черную мессу,
и природа готовилась лечь под нож.
В комнате начиналась ночь по прихоти беса,
за окнами шёл ритуальный дождь.

Перед отъездом, взвинченный, как пружина,
чтобы узнать расписание, ты позвонил на вокзал,
а потом с таким голливудским шиком
выплюнул окурочек и платье на ней разорвал.

Теперь ты спишь в своей ванной, не сняв халата,
не смыв следы крови с белых холёных рук,
и так безучастно глядит на тебя с плаката
спившийся ангел по прозвищу Микки Рурк.

Снится, что в баре столы и тарелки вертятся,
и гипсовый пионер играет блюз на жестяной трубе,
и что в груди у неё всё ещё бьётся сердце
со сплошной червоточиной в качестве памяти о тебе.

РОК-Н-РОЛЛ

В веренице нечаянных встреч и движений неловких
разукрашенных фраз, как звонков телефонных, не жаль.
Но всё чаще хотелось сойти на твоей остановке,
и к губам перече́ркнутым целое лето прижать.

Значит, нужно сегодня, пока облака не остыли,
и летят из конверта пластинки тебе на ладонь,
Посадить на иглу чернокожий осколок винила,
чтобы в омут обоев вплыл голос, ещё молодой.

Этим грустным рассказом наш мир навсегда изувечен,
а чернильные сумерки, день на стихи изорвав,
и настольную лампу держа на прицеле весь вечер,
с неземной прямо́той лезут в душу, как лезут в карман.

Мы не знаем куплетов, слова нам никто не подскажет,
но знакомый припев, точно выкрик, гортань обожжет —
так родимые пятна дворов, тротуаров и пляжей
проступают на солнце — далеко, и значит, чужом.

Мне б испытывать действие времени с привкусом яда,
пережить все несчастья, от всех лихорадок страдать...
Только город притихший дурным, закатившимся взглядом
провожает троллейбус, и провод гудит, как струна.

В майский полдень от зноя желтеет трава,
пахнут первой грозой голубые экраны.
Невозможный портвейн номер семьдесят два
разливает Акимов по белым стаканам.
Выпиваешь, пока ещё держишь удар,
крутишь ручку приёмника вправо и влево,
перекрыв нержавеющий скрежет гитар
разговором о жизни такой вот нелепой.
В самом деле, как странно сложилась она —
в старших классах, чуть сердце сильнее забилося,
ты за партой мечтал о стакане вина,
о концерте с участием группы «The Beatles».

Проклиная грядущий последний звонок,
шпарил взгляд, подгоняемый силой привычки,
от раздвинутых воображением ног
до окрашенных локонов географички.

Твой состав приходил на вокзал для двоих.
В область бреда отчалила средняя школа.
обработал дыханием улиц своих
пыльный город, внимательный к женскому полу.
Мир любви, он тебе кислород перекрыл:
балансируя между залётом и дракой,
ты, наверное, около года прожил
с полюбившей тебя выпускницей педфака.
Всё, что можно, в красивых глазах прочитал,
образ жизни был блеском винила разрушен,
алкоголь добивал, но живая мечта
растянула в улыбке лицо, потому что
всю буквально весну, я не помню уж, как,
но вчера, в прошлый вторник, в апреле и в марте,
пили водку с Коляном до дрожи в руках,
а сегодня в Москву прилетел Пол Маккартни.

Он рассеянно смотрит на башни Кремля,
и брусчатку знакомый мотив лихорадит,
только здесь уже полночь, и спят тополя,
и поэтому, милая, музыки хватит.
Остаётся одно теперь, как ни крути —
навестить ещё раз нашу тихую пристань,
душной ночью с любимой в обнимку пройти
вдоль по улице этих — ну, как их? — Радистов!
Я рассказывал, помнишь — боярышник цвёл,
во дворе с пацанами поддали «Столичной»,
говорили с Михайловым за рок-н-ролл,
за стихи и за что-то ещё, как обычно.
И вернувшись, пластинку впотьмах отыскав,
я настроил вертушку, по корпусу врезав,
и, глотнув из горла, дожидался, пока,
на весь дом заиграет фрагмент «Марсельезы».
А потом, наплевав на удары в стене,
так доходчиво и доверительно даже
объясняли битлы: все, что нужно тебе,
это, парень, любовь, а всё прочее лажа.

9 МАЯ

Временами от улицы тянет мятой,
мир потрёпан, но всё-таки моложав,
и в подушку лицо неохота прятать,
целый ворох событий к груди прижав.
И, ресницы бессонницей окропив,
чей-то профиль нечаянно заслоняет
недостроенный Спас на чужой крови,
взятый в скобки дождем в середине мая.
Пусть так будет — хоть целую ночь напролёт,
и не рад ты, конечно, такой обузе —
со столетьем на шее ползти вперёд
непрожёванной хлябью Восточной Пруссии.
Скучно стало, и нечего рассказать,
даже книжные полки до блеска вылизаны —
прогуляться «налево» теперь нельзя
рука об руку с классиками марксизма.
Ну, а воздух на ржавом штыке повис
там, где мемориал, точно знак вопроса,
и в учебниках пригоршни стреляных гильз
кромку неба забрызгали звёздной россыпью.
Вот и твой подоконник сиренью взорван,
вот и музыка ловко петлёй затянута
на букетах, и память бормочет: «Здорово!»,
и фальшивые ноты в петлицах вянут.
Век наш короток, век — не калашный ряд,
и пускай он точней, чем часы на Спасской —
не сегодня, так завтра его до пят
обольёт некролог типографской краской!

Горячий воздух, ордена, букеты,
хмельной закат, прожжённый сигаретой,
сирень. Уехать к морю в День Победы,
ни сна, ни яви не отдать врагу.
Плывет паром, и видно близко-близко
обветренные лица обелисков,
точёный профиль города Балтийска,
поддатого меня на берегу.

На берегу, где облако и птицы.
Из жизни глупой вырвана страница
очередная. Надо было становиться
убитым службой прапором, а не

пьянчугой в чёрной вылинявшей майке,
корабликом из жёваной бумаги.
Стать памятью о роковой атаке.
Стать кораблём, скучающим на дне.

На всём стоит войны упрямый росчерк,
и эта жизнь становится короче.
Красавица, а ну, лицо попроще,
всё начинаем с чистого листа.
Побудь со мной, пока это возможно,
пока весна вот так неосторожно
слова любви диктует пересохшим
от горькой жажды подвига устам.

Да будет — мир всем нам без исключения,
беседа в романтическом ключе и
на небе обалденное свечение,
когда, вздохнув над мутною волной,
меня, заснувшего у самого причала,
разбудит голосом прохожего случайного
судьба моя, такая беспечальная:
«Бери шинель, братан, пошли домой».

БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ

Закурим на прощание, и вдоль трамвайной линии
один из нас отправится — так отпусти меня,
дождём отполированный парк имени Калинина
с печальными приметами сегодняшнего дня.

Был праздник, было целое столетие в прострации,
друзья лежали пьяные, как павшие в бою.
Был дождь, толпа растаяла, всюю цветет акация,
вино и страсть, как водится, терзают жизнь мою.

А на скамейке выцветшей, среди живых и мёртвых,
ведёт беседу с облаком под перезвон листвы
старик в бейсболке розовой и в пиджаке потёртом
с неполным рядом пуговиц и рукавом пустым.

Отгрохотала музыкой и холостыми выстрелами
большая жизнь, привыкшая не замечать в упор.
Взгляни, как героически в руке его единственной
дрожит слегка увядшая «Герцеговина Флор».

И он уходит медленно, молчанья не нарушив,
а в старом парке отдыха, под небом голубым,

асфальт блестит, и радио транслирует «Катюшу»,
и исчезает молодость, как папиросный дым.

Любуясь мокрой зеленью, дрянную запись слушая,
пойму, как верно, милая, рифмуется с тобой
простая эта песенка про яблони и груши,
и безусловно книжные туманы над рекой.

И я пойду по городу сквозь центр, искалеченный
войной и русским бизнесом, шагая всё быстрее
туда, где неизменная весна и наши женщины,
живущие на улицах разбитых фонарей.

Закат над новостройками растаял, небо хмурится
и ночь большими звёздами на плечи мне легла.
Идет солдат, шатается, по грязной, тёмной улице,
но от улыбок девичьих вся улица светла.

СНЕГУРОЧКА

На декабрьское солнце невозможно смотреть без слёз.
Вот за праздничный стол нас сажает зима-белоручка,
вот директор моей конторы — стриженный Дед Мороз —
и его секретарша в амплуа белокурой Снегурочки.

Всё, что было, то сплыло. И, как говорится, жаль.
С ней у нас много общего, начиная с любви к отчизне.
Но сегодня моя Снегурочка пропивает свою печаль,
прижимаясь к крутому плечу настоящей жизни.

У неё в глазах праздник, лучше которого нет,
на коленках — сценарий, дурные стихи и застольные речи,
и приходится пить за разбавленный водкой сюжет,
за движенья души, от которых ей дышится легче.

Вечер быстро теряет форму. Уйдёт из-под ног земля,
начинаешь цепляться за воздух, стараясь не падать духом.
Запомни это обилие предметов из хрусталя,
снег за окном, шампанское и декольте главбуха.

Юность иронизирует, роняя лицо в салат,
зрелость судьбу испытывает по законам большого рынка,
но кто-то из нас, коллеги, всё же летит в Ленинград —
целоваться с польской кинозвездой-блондинкой.

С легким паром, страна; ты очнёшься сегодня днём
в вытрезвителе, и распишешься в побледневшей штрафной квитанции.
...Захожу в квартиру, и — надо же — в доме моём —
дискотека, бардак. И Снегурочка приглашает меня на танец.

Здесь купола, как деньги смятые,
поклон — не дольше двух секунд.
Пальто, заштопанное слякотью,
ещё чернеет на снегу.

Согреты строчкой из Евангелия,
такой рождественской и пряной,
звонком трамвайным, хором ангелов
прогулки наши неприкаянные.

И в темноте — так повелось —
слова молитвы не угаданы,
но к запаху твоих волос
примешивался запах ладана.

Морозный вечер пробкой выстрелит,
а на столе лежит, как встарь,
эпохой целою залистанный
атеистический словарь.

И буквы — до чего же молоды —
молчат, как провода оборванные,
и в телефонной будке холодно
от снежного скрываться вороха.

ВАЛЕНТИНОВ ДЕНЬ

Неполученной открыткой болен мой почтовый ящик
и, беременный сюжетом, плачет, истины взалкав.
Даже твой любимый город замурован зимней спячкой
в кружева ночных кошмаров с очевидностью звонка.

В мире нецензурных книжек, в мире негуманных жестов
уходить, не попрощавшись, издавна заведено,
и на улицах уставших снега грязные манжеты
щедро залиты рассветом, точно розовым вином.

Рядом дождь февральский бродит, не находит себе места,
будто ангел, с поцелуем перепутавший укус.
Он придумал этот грустный виртуальный праздник секса,
нашим бабам вместо сердца прилепив червовый туз.

Разговор на остановке сыплет гильзами окурков,
на углу подросток чахнет с чайной розой у бедра,
и февраль, уже набрякший литургией переулков,
тычет мне в глаза смиреньем и искусством умирать.

Дождь традиций европейских, весь в занозах от распятий,
хлещет на родную паперть, дым отечества губя.
В этой патоке приличий полыхнет противоядием
маков цвет твоей помады на смеющихся губах.

...Дегустировавший женщин кенигсбергского разлива,
мой двойник в плаще измятом на вокзале водку пьёт.
Нас действительность спасала, а поэзия растлила.
Но и та не пожалеет. И с собой не позовёт.

Весна, сентиментальное кино,
глухих дворов невысохшие слезы.
Пока ещё заклеено окно
с нелепой жёлтой трещиной мимозы.

Снег падает, прогнозу вопреки,
на всю географическую карту.
На улицах бухие мужики,
а на календаре восьмое марта.

А ей с утра звонит один джигит,
почувявший специфику момента,
но трубка глушит остроту флюид
и чувственность кавказского акцента.

В каштановых аллеях тишина,
сияют лужи, как большие кляксы,
от стужи гибнут розы, а она
трамвая ждет у памятника Марксу.

В трамвае том, уже который год,
приятелей за плечи обнимая,
я еду ей навстречу, только вот
пока об этом не подозреваю.

Плывёт, темнея, вечер голубой,
я узнаю пейзаж полужнакомый,
мешая с пивом привкус неземной
разлуки и похмельного синдрома,

и вижу, как, под снегом и дождем,
она стоит, почти неразличима.
Я всё смотрю и, мысленно её
целуя в губы, проезжаю мимо.

И потому, залившийся вином
в густом дыму гнилого ресторана,
её колена гладит под столом
кривой мордovorот из Еревана.

ПАСХАЛЬНЫЕ СТРОФЫ

I

Такие вечера — последний штрих
на выцветший иконостас обоев.
Остатки солнца в городах больших
лежат, гидрометцентр успокоив.
Пройти бы с ней хотя б ещё квартал —
история полна широких жестов,
хотя давно невинность потерял
видеоряд евангельских сюжетов.
«Любите, Бога ради, по любви», —
в провинции, а также в граде стольном,
подчёркивает радиоэфир
с отчётливым акцентом колокольни.
Он выветрится из чужих квартир
и взбудоражит улицы, но только
твой колокольчик прикусил язык,
поскольку он фальшивит в общем хоре,
и день, лишённый привкуса слезы,
растаял, как конфета за щекою,
и даже у церквей в глазах темно.
Апрельской ночью до руин зачитан
собор на голом острове. В окно
глядит печаль в очках солнцезащитных.

II

Нам снится прошлогодний променад
и этот день, предпраздничный, наверное.
Все свежие газеты променяв
на поцелуй, запутавшийся в вербах,
одна шестая суши замерла,
вдруг став размером с пляжную кабину,
прижавшись к морю. Выпей за меня,
кагор глотая пополам с обидой.
Сегодня тот же плещется мотив,
а пляж, длиной в три новых киноленты,
пьёт пиво, анекдотом закусив,
и раздает девчонкам комплименты.
Венера, в четырех шагах застыв,
поддатых отдыхающих напротив,
глядит на это дело из воды.
Конечно же, грустит — и не выходит.

III

Сгорает утро. С кладбища — назад,
домой спешит, от зноя обессилен,
опохмелённый пролетариат,
поправив фото на родных могилах.
Уснувший в позе снятого с креста,
мир буржуа не просыпался будто,
и лишь в моём отечестве весна
задумчиво пьёт кофе в позе Будды.
Мы проклинаям солнце за поджог,
гордимся, чувств высоких не скрывая,
останками империи чужой,
завёрнутыми в белый плащ с кровавым
подбоем. В обезвоженных полях
бредёт солдат с улыбкою экранной,
у цезаря по-прежнему болят
воспоминаний колотые раны.
Но Древний Рим едва ли виноват,
что на погонах тоже звёзды гаснут,
Балтфлотом наспех перебинтовав
уродливый обрубок государства.

IV

На улице играет в домино
чертовски небольшой процент неверующих.
Спускаешься по лестнице бегом
в закускую, как в бомбоубежище.
Буфетчицу ты балуешь вином,
от дня грядущего отгородившись
взрывной воронкой прошлого. На дно
его взглянув, не видишь всё равно,
как из червя стать персонажем Ницше.
В неоновой безвкусной синеве
каштаны дымовой завесой плотной
спасают от позора Кенигсберг,
английской авиацией обглоданный.
И ты встаёшь. И знаешь, что с утра,
вновь сигарету у тебя стреляя,
сосед с лицом апостола Петра
поздравит по ошибке с первым мая.

Отчего этим солнцем на смуглой ладошке эпохи,
как бельмом Генуэзца, любитесь выцветший пляж?
И не вспомнишь уже, что когда-то — на всхлипе, на вздохе,
каравеллами выжат испаноязычный пейзаж.

Заблудившийся кашель, отмаявшись, комнату скорчив,
привокзальную юность в кровати за горло схватив,
не замрёт на губах... И слегка маяками подпорчен
синеглазый, святой, неизбежный, как завтрак, прилив.

Но на что же столицы, где кружевом дамских платочков
неумытость гостиниц в приезжих стреляет в упор?
Может быть, в переулке с изнанки меня прополощет
не отмытый ещё от сиреневых вёсен топор.

Вот тогда побредёшь за распоротым гаванью небом,
не пошарив в карманах и руки судьбе развязав,
зацелованный накрепко чёрствым от похоти хлебом,
чтоб бульвары — в восторге, а одурь подушки — в слезах.

Унылый пейзаж заслонив чемоданом,
разлука уже превратилась в безвременье,
дороги разбитые — в автобаны,
которым претит соловьиное пение.

Какая привычка — спешить на вокзал,
и с шиком гордиться перроном заплёванным,
где тает, как лето, у всех на глазах
вагонов сумятица — синих, зелёных.

Ты едешь сегодня. Напротив меня
смешки и улыбки погасли все разом.
Окурки — что бабочки. С этого дня
вся жизнь — путешествие третьим классом.

ПЕТЕРБУРГ

Кто помнит, как черёмухой размазана,
заплаканно маячила постель,
в карманах цвёл, не те слова подсказывал
и под ногами путался апрель,

тот не жалеет, что, по горло полночью —
мы таяли, уставясь в потолок,
когда весна, одетая с иголки,
входила в дом, не вытерев сапог.

Плыл телеграф, а за спиною — звонница
молчала, словно выдернут язык.
И знали, что молитва не запомнится,
когда ты к ней с пелёнок не привык.

В вагоне спят, хоть день ещё не прожит,
а вам бы — телеграмму, да проспектами,
и до утра — с названьями похожими,
и там, глядите — под дождём, под снегом ли

звенит стекло, и в воздухе разлито,
что нам невест не отпить надеждами,
пока Нева повязана гранитом,
и под ногами снег хрустит, как прежде.

НА ОБОЧИНЕ

Когда, не выспавшись, вы ссорились
в кафе на светлогорском пляже,
то ваше завтра, наспех скроенное,
вам не могло присниться даже,
пока до нищенства заветного
не доросли ещё, конечно же,
давась экспромтами газетными
и сахар медленно размешивая.
От поколения потерянных
вот эта толкотня вокзальная
и синева, грозой подстреленная,
и лето, чем-то опечаленное.
Сиротство одеял больничных,
случайной ссадиной отмеченное
не учит соблюдать приличия
и кланяться любому встречному.

От поколения потерянных
ещё не знающая меры
и впопыхах, как день рождения,
любовь, в который раз уж первая —
в аудиториях, за партами,
за почтой утренней... За чаем
знакомые узоры фартука
на Петроградской вас встречают.

Когда не смяты, не оболганы —
плевать на влюбчивость скамеек,
коль подворотней пахнут локоны
и за душою — ни копейки.

Теперь не нужно прокламацией
на площадях себя развешивать —
на наших улицах остаться бы,
где мы так славно перемешаны,
где в каждой книге — по портрету,
по оплеухе — в каждой строчке,
и так неслыханно приветливы
улыбки запятых и точек.
А кто-то с галстуком — у зеркала,
и, кажется, не будет более
в июньском темнокожем пекле
рубаш, распахнутых до боли,
не будет ни решёток ласковых,
ни ваших диспутов похмельных —
не акварельными ли красками
разводят протокол в апреле?

От поколения потерянных
до эпитафии пригожей
погода на проспекте Ленина
сбивает с ног моих прохожих,
и вёсны пражские, как женщины,
им снятся вечером в трамваях,
и столько разного обещано,
что выполнить — уже не вправе!

Дрожит заката нервная полоска,
отчалил в небо голубой вагон,
по улице идешь Магнитогорской
на самый мёртвый в мире стадион.
Пустой консервной ёмкостью грохочешь,
ломаешь спички, гредишь наяву,
считаешь звёзды. Вечером и ночью
с баллоном пива у пустых трибун
стоят, отчизне милые до боли,
единого прекрасного жрецы,
горит луна и на футбольном поле
рассыпаны окурки и шприцы.
Ты сам себе и повод, и причина,
но пьёшь сейчас за тех, кто изобрел

страну, где настоящие мужчины
не в шахматы играют, а в футбол.
Мат-перемат со свистом перемешан,
над головами радио поёт,
твоё воображение тебе же
ударом точным мяч передаёт.
Все девушки в Октябрьском районе
твои отныне станут, потому
что ты один на этом стадионе
в аплодисментах тонешь, как в дыму,
и плачешь, угадав в кругу событий,
лишь проведя ладонью по лицу,
всю эту жизнь в её печальном виде
трамвая, уходящего к кольцу.
В ней будет много славного, дурного,
земной любви, бездарного труда,
друзья займут места у гастронома
и спорт большой оставят навсегда.
И ты, уже ударив по воротам,
увидишь, вытирая пот со лба —
отменяют матч из-за плохой погоды
и заслонит фабричная труба
отмытое до солнечного блеска,
родное, как совковое кино,
окно с такой знакомой занавеской,
нечаянно разбитое окно.

ЗАНАВЕС

Пятно декораций — без слов, без имени,
развязка — как сломанный карандаш.
На что променяешь теперь любимых
и домик картонный кому отдашь?

Кругом ни души — ну кому тут верить?
Финал предсказуем, как вздох: «Люблю!»,
пока горизонты Европ, Америк,
по вашим дорогам дождями бьют.

Хоть ездят в столицу — «за идеалами»,
хоть бегай за алкоголем в сельпо,
пока идеалы не стали алыми,
не спаяны молотом и серпом,

не скормлены целой стране в буфете —
кто здесь завсегда, а кто на час,
не так ведь и важно, когда на свете
не будет уже ни меня, ни вас,

когда реквизит зацветёт со скуки,
устан от гастролей и от премьер,
смертям бутафорским целуйте руки
и смело берите билет в партер!

ОТТЕПЕЛЬ

Здесь взгляд перебинтован снегом,
и каждый звук в сугробах тонет,
когда печаль разбавить некому
горячим омутом ладоней.

Остатки горечи встречая,
метель по венам хороводит,
впитав губами синь отчаяния,
чтоб не раскисла память в оттепель.

Но в эти дни, как никогда,
дыханье форточки прерывисто,
целует тротуар вода,
и вечер поперхнулся сыростью,

рассудок простыням измятым
сдаёт позиции без боя,
когда передовым отрядом
весна выходит из подполья.

Поля, расстегнутые мартом,
не признают ни слов, ни денег,
а тишине грозит инфарктом
сердцебиение ступенек.

а тишина на наши лица
легла печалью-полуночницей.
Твоим ресницам это снится,
и надвое дыханье множится.

Мы разделили вздох прибоя
и кровохарканье заката,
страну, беременную бойней
и ложью, спрятанной за кадром,

и даже небо — пополам,
как хлеб, как белый привкус плоти,
и только по твоим плечам
я узнаю окно напротив.

В глазах растроганного города
цветут объятия и вербы,
и полночь льётся мне за ворот
дождями, пахнущими вермутом,

а переулкам неопознанным
и строчкам, заражённым зеленью,
придётся заплатить неврозом
за этот обморок весенний,

за то, что слез вчерашних россыпи
возводят радугу отравленную,
пока оттаявшему городу
апрель зализывает раны.

Планета за твоим окном
ни сигарет, ни ламп не тушит,
и разговор едва знаком
с оглохшей белизной подушки,

и мы наговоримся влать,
и горизонт не станет хмуриться,
успев околицей припасть
к раздвинутым коленям улиц.

Такое время настаёт,
что ночь — как наволочка белая,
что счастье ходит под статьёй
с тяжёлым запахом расстрела.

Мы, ожидая перемен,
затопленные неизвестностью,
болеем мачтами антенн
и парусами занавесок.

Рассвет идёт с открытым сердцем
для исповедей и признаний,
и потому всё меньше верится,
что это происходит с нами.

ЖЕРМИНАЛЬ

Наконец-то апрель, вечера облаками парят,
спинку стула слегка удивив невесомостью блузки.
Непогоду клянётся, суетишься с ключами в дверях,
и опять календарь что-то шепчет стене по-французски,

что вторая неделя на убыль идет, как на казнь,
что эпоха улыбчива, как мостовые Парижа.
Эта улица помнит заржавленных лезвий наказ,
но его для порядка на наших подушках запишет.

Снова день позолоченный вместе со спичкой погас,
протянув к телеграфным столбам бельевую верёвку.
Хоть бы краешка плаття губами коснуться сейчас,
впрочем, сделаешь это, как прежде, смешно и неловко.

Полунищий апрель поднимает окурок с земли,
всё как будто не то, только ты — неужели так близко?...
Слава Богу, что краски ещё не совсем отцвели,
потому что со мной уик-энд говорит по-парижски.

СЕНТЯБРЬ

Ты помолись, чтоб услышало наш разговор
лето, школьным звонком расстрелянное в упор
там, где написано: «Вход со двора», и эта
надпись теперь приветливой вывески на пивной.
Правда, понять это можно не сердцем, но головой,
так как дождями сердце, точно свинцом, задето.

Только вручить бы зонтик мокрой от слез душе,
целый набор обещаний вместо карандашей
можно с собой на урок отнести в портфеле.
Ветер, взъерошив причёску, как ты — блокнот,
вновь желтизной обесценившихся банкнот
сыплет под ноги девушкам, как Рокфеллер.

А в учебнике шар земной вертится, как юла,
не потеряв равновесия — пока ещё. Зеркала
впитывают блеск туфель и глаженной униформы.
Мы отныне все одинаковы, как в строю.
В стаю сбившись скорей, сантименты летят на юг,
потому что им места нет среди теорем и формул.

Даже классик в прятки играл со своей судьбой,
написав как-то раз, что праздник - всегда с тобой,
ведь, на фото застряв, лето плохо ложится в память.
...Как и в прошлом году, равнодушный к чужим рукам,
мел безбожно крошится, но только теперь к словам
«до свиданья», «до встречи» уже ничего не прибавить.

Пока умытый полдень весел,
есть время повернуть назад,
чтоб тихой грусти занавесок
не попадаться на глаза

Казалось, комната не рада,
что, побывав в твоих ладонях,
губами расписалась радуга
на белом бланке подоконника

Усталым вишням не зазорно
рубашку сбросить, точно маску,
коль перевернуты озёра
последней рюмкой первомайской

Мы всё на свете растеряем,
и голос вымокнет до нитки
на сумасшедших расстояниях
от поцелуя до калитки

и если снова будет вечер,
тогда в обманутом саду,
чуть подмигнув плечам доверчивым,
чужие окна зацветут.

Он тебя уже почти не слышит,
наэлектризованный тобой,
он садится на паром подгнивший,
театрально помахав рукой.

Завтра он вернётся, а сегодня
палуба пульсирует под ним,
ждут его скамейки-подворотни
и большого города огни.

Атмосферный слой бельё полощет,
медленно ржавеют корабли,
пиво, разливаемое в Польше,
всюду хлещет, как из-под земли.

Он круги по городу мотает,
дышит на милицию вином,
спотыкается, как запятая,
добавляет водки, а потом

на проспект, в такой привычный ужас,
выходя по битому стеклу,
он ломает руку, поскользнувшись
в баре на заблёванном полу,

чуть проспится в трюме, выпьет снова,
заскучает, за борт упадёт,
в сумасшедший цвет закат багровый
перекрасит пассажирский флот.

Это целый мир уходит в море,
так беги к причалу — всё равно
нет его ни дома, ни в конторе,
ни за грязным столиком в пивной.

Только ни к чему вам эта ретушь,
лирика, сплошное барахло,
потому что с временем прошедшим
не в ладах оконное стекло,

за которым, по уши в лазури,
как живой — не веришь? посмотри! —
твой герой перед подъездом курит
и прохожих первых материт

Магнитола с пятнадцатилетним стажем
преподносит букетик дрянных аккордов.
Пахнет порохом облако так, что даже
ощущаешь угрозу в кусочке торта.

Засиделись, молчим. Эта чашка кофе —
точно гвоздь, на который картина повешена.
Наши чувства споткнутся на каждом слове,
даже если слово — такое нежное.

В суматохе вечер проходит мимо,
начинив походку привычкой бегать,
что-то сдуру наспех шепнув любимой
и чужую шляпку припудрив снегом.

Уходя, оглядываться не нужно,
ведь проспектам, улицам — всё едино.
Ничего, что захлопнута дверь снаружи
и прочитана книга до середины.

Речь бедна, и наличие в ней длиннот
и обычай кавычек — не портят дело:
это только подстрочник, не перевод
с языка простыни и сорочки белой.

В этом доме, где окна, мне кажется, не от мира сего,
я бы прожил не всю, но, по крайней мере, полжизни,
чтобы время сбересть, а потом, как обычно, легко,
снова наспех одеться, к другой направляясь отчизне.

Если б только, копеечкой в кармане моём звеня,
с неизменно дурацким упорством секундной стрелки,
наподобие боли зубной, не преследовало меня
ощущенье того, будто я не в своей тарелке.

Ну, а так — я бы жил здесь, смотрел бы с балкона вниз,
как лихой первомай нашей улице режет вены,
каждый год замечал бы, что двор по весне раскис,
оттого что весна здесь до чего ж необыкновенна.

И когда-нибудь первый этаж в этом доме займет кафе,
чтобы утро хоть раз искупало взгляд мой в дешёвом блюде,
чтоб я мог посидеть за столиком, произвести эффект,
твердо зная, что зрители где-нибудь да найдутся.

Мне сидеть бы напротив тебя с обречённым видом,
сразу чувствуя строгость причёски, каблук реверанс,
неотзывчивость юбки... И фразами, в кровь избитыми,
неизвестно зачем развлекать тебя целый час.

Ты бы мне отвечала, но, как и положено чужаку,
я б не понял ни слова, словарь бесполезный листая,
не найдя там того, что нужно... И, тихо к тебе шагнув,
может быть, ожидал бы шага навстречу — не знаю.

И вот так бы привык, сохраняя нейтралитет
в перебранке дверей, половиц и почтовых ящиков,
с лёгкой грустью думать, что больше на свете нет
ничего другого — а тем более настоящего.

РАСКОЛЬНИКОВ

венки сонетов

Наталье Черновой

надежды нет и я растрочен весь
а сон мой звякнет радостью в металле
так будет всюду только бы не здесь
алели тени с рюмочными талиями

лишь запах лета и рассвета взгляд
и ты закрыв глаза захлопнешь небо
я сам теперь как невидаль и небыль
чужими разговорами измят

едва очнувшись веришь всё сильней
раздетой ливнем улице твоей
над Петербургом сжалилась погода

отдав меня проспектам и дворам
вся повесть — не роман на вешних водах
а проклятая правда топора

1.

надежды нет и я растрочен весь
и то что мне принадлежит по праву
чужие люди продают на вес
а сердце на учёте у легавых

умыт рассветом и по горло сыт
газетным пойлом под названьем «осень»
с приправой острой из дождей косых
и вяленой жестокостью допроса

бессмертие здесь носят на руках
решёткой ставят точку на века
но запятые нам нужны едва ли

и если это вправду эпилог
тогда под утро загремит замок
а сон мой звякнет радостью в металле

2.

а сон мой звякнет радостью в металле
горячкой отзовется коридор
уже сегодня мне пересказали
подслушанный гранитом разговор

я видел небо цвета спелых слив
и Петербург переболевший гриппом
но треуголку мне преподнесли
моё Бородино и мой Египет

проспект ещё в пороховом дыму
хотя мой собеседник наяву
не маршал а квартальный надзиратель

и то что взято на прицел и есть
предчувствие любви и благодати
так будет всюду только бы не здесь

3.
так будет всюду только бы не здесь
пускай же разбивают лбы и крестятся
а мне милей залатанная лестница
и комнаты кладбищенская лесть

отплакав за чужих детей и жён
нам остаётся чуть пожав плечами
зарезать юность кухонным ножом
и утопить в тарелке щей отчаянье

я самого себя подкараулил
ни площадей растоптанных июлем
ни набережных мне теперь не жаль

ведь только там где косы расплетала
и за руки держала нас печаль
алели тени с рюмочными талиями

4.
алели тени с рюмочными талиями
и снова неуютно тополям
пока их в непогоду целовали
а поцелуй не стоил и рубля

пока перед пивной ломали шапки
и рассыпались пьяной ворожкой
походкою подстреленной и шаткой
отважно вылезая на рожон

над нами звёзд как мелочи в кармане
подъезд подошвы лижет всякой рвани
когда для сна застелена земля

и каждый день уликами опутан
пальто приносит с улицы под утро
лишь запах лета и рассвета взгляд

5.

лишь запах лета и рассвета взгляд
и эти руки вместо разговоров
в рядах смущённых пуговиц шалют
и второпях задёргивают шторы

улыбка голос шляпка взмах ресниц
и плюс любовь естественно за деньги
попробуй-ка с панелью объяснись
на языке своей судьбы-злодейки

ты говоришь что можно в восемнадцать
снять платье за огрызки ассигнаций
и не грубить при этом зеркалам

ты голубей подкармливаешь хлебом
и облаком с лазурью пополам
и ты закрыв глаза захлопнешь небо

6.

и ты закрыв глаза захлопнешь небо
как форточку такую синеву
отравленную и до слёз нелепую
ты больше не увидишь наяву

что ж Сонечка ещё не время каяться
ещё дорога эта как кисель
и то что за окном тебе не нравится
кровопусканьем вылечит апрель

беда приходит с утренней газетой
почти библейский поворот сюжета
нас выпотрошит росчерком пера

когда от писем остаётся пепел
мне незачем придумывать и врать
я сам теперь как невидаль и небыль

7.

я сам теперь как невидаль и небыль
но всё ж бесповоротно обречён
на комнаты где так скучает мебель
и запирают сердце на крючок

такое лето не поднять с колен
как нам не измениться ни на йоту
сегодня город мой сдаётся в плен
дождям ещё не вышедшим из моды

всё сызнава и то что я наплёл
не вспомнят и не вставят в протокол
и утро пробирается по крышам

застенчиво всплакнув из-за меня
а я как прошлогодняя афиша
чужими разговорами измят

8.

чужими разговорами измят
грядущий день в который плохо верится
пока мой враг кредитку разменяв
не приценившись в сердце чьё-то целится

империя с подвыпившим крыльцом
не лижет руки новым поколениям
и жёлтый полдень Лужину в лицо
швырнул перчатку как букет сирени

а завтра нашим улицам назло
чахотка подрумянит горизонт
как только захлебнёшься околесицей

тебе навряд ли станет веселей
и растерявшимся шагам на лестнице
едва очнувшись веришь всё сильнее

9.

едва очнувшись веришь всё сильнее
чужим словам как отраженью в зеркале
привыкнув разговаривать во сне
и не пенять на вечер исковерканный

и я молился девичьим плечам
когда мою печаль разделят надвое
со мной заговорит остывший чай
словами соблазненной гувернантки

на платье на подтаявшей свече
кровоподтёк от солнечных лучей
в такие дни я как рассвет встревожен

я ухожу не заперев дверей

но лишь сегодня ничего не должен
раздетой ливнем улице твоей

10.

раздетой ливнем улице твоей
ночь пригрозила в шутку револьвером
кругом дожди и те что посмелей
столицей зазываются к барьеру

что толку память подставлять под розги
когда ожившей тенью на стене
полужнакомой девочкой-подростком
моё «вчера» вдруг явится ко мне

откланявшись без видимой причины
таких как мы эпоха приучила
расплачиваться выстрелом в висок

закат умело полоснуть по горлу
чтоб как-нибудь намаявшись весной
над Петербургом сжалилась погода

11.

над Петербургом сжалилась погода
лишь побродив по мокрой мостовой
она б тебе сыграла как по нотам
когда б не облака над головой

рассеянных улыбок паутина
сегодня мне не сможет помешать
едва заря насмотрится в витрину
причёску поправляя не спеша

и лезвие ощутив в первый раз
стою на перекрёстке битый час
и тротуар мутит от обещаний

а кто-то еле вымолвив «пора»
тихонько поцелует на прощанье
отдав меня проспектам и дворам

12.

отдав меня проспектам и дворам
учебники и письма заскучали
а улица едва глаза продрав
весь день листвой как музыкой встречает

один лишь шорох платья за спиной

дороже всех других благословений
пока кладут поклоны на Сенной
и падает рассудок на колени

а исповедь поставит многоточие
в сухих отчётах и сегодня ночью
беду чужую на себя примерь

любовь оденет по последней моде
вся жизнь не «послезавтра» а «теперь»
вся повесть — не роман на вешних водах

13.

вся повесть — не роман на вешних водах
когда известно: если надоест
тебя от неприятных эпизодов
избавит тяга к перемене мест

ещё квартал парадных вереница
всё как вчера и потому наверное
я к вам сейчас сошёл бы со страницы
не поклонившись заспанным губерниям

здесь приласкают и всегда нальют
здесь даже часто говорят «люблю»
но мы под этим солнцем слишком разные

коль проберёт до самого нутра
то сердце переполнят не фантазии
а проклятая правда топора

14.

...а проклятая правда топора
всё объяснит на языке острога
и скоро все вопросы растеряв
дорога от растерянности вздрогнет

конвойные от скуки не спасут
и набожность слепая выше ценится
но кажется опять в седьмом часу
я поднимаюсь всё по той же лестнице

таких признаний я б не перенёс
уткнувшийся в подушку парадокс
навек безутешен и расстроен

как будто получил дурную весть
я повторяю словно заведённый
«надежды нет и я растрочен весь»

ВАРШАВСКИЙ ДНЕВНИК

1. АЛЛЕЯ НЕЗАВИСИМОСТИ

О чем тебе рассказать? Откуда отправить открытку?
Дорога на главпочтамт, забытая мной, отвыкла
от дружеской переписки с её избранными местами,
которая наше прошлое, как фотоальбом, листает:
вот это пивная, кондитерская, вокзал, вход в метро, а это —
любовь моя в светлой блузке не помню какого цвета.

Я стою у открытой форточки. Вечер к одежде липнет
с его никому не известным штрих-кодом ливня,
что, в общем-то, не препятствует изучению внешних данных
двадцатилетней соседки, принимающей ванну —
вот, кажется, и дождался милостей от природы,
и всё потому, что в полночь не отключают воду

ни в центре, ни в старом городе, ни даже на этой улице,
похожей на ксерокопию страницы из конституции,
оставленную в туалете публичной библиотеки,
всю в пятнах большой политики.

Вчера ещё были деньги,
сегодня — одни амбиции, уверенность, что столица —
бесплатное приложение к приветливым женским лицам.

Незнание языка объясняют болезнью роста
объёмов внешней торговли, так что по-русски сносно
общаются лишь свидетели второй мировой войны,
а вовсе не те, кого хочется погладить ниже спины.
Я долго не мог настроить приёмник, и каждый вечер
в эфире шёл дождь, разбавленный музыкой польской речи.

Не правда ли, непогоду пора оставлять за кадром?
Блондинкам июнь к лицу, и лицо без клейма загара
воспринимается улицей как тело, почти инородное.
И солнце не хуже действует, чем перекись водорода,
хотя в наши дни в Варшаве ничто так не красит женщину,
как полное равнодушие к разлитой в газетах желчи

по поводу наркочилеров, купальников, мыльных опер
и очагов слабоумия в уставшей от войн Европе.
Под окнами — сонные ивы с испорченным настроением,
вокруг — темнота аллеи, когда-то лишённой зрения,
и, кажется, эти губы привычное «завтра увидимся»
не произнесут.

И любовь не перерастёт в зависимость.

2. SUMMERTIME

*«Summertime,
and the living is easy...»
«Попги и Бесс»*

В безымянном кафе напротив грохочет весь день бильярд,
и солнце нагло в квартиру прёт, игнорируя тополя,
сквозь надоевшие заросли неглаженного белья.
На стенах грустят картины, теряющие рассудок.
Закат никогда не сочувствует обесточенным фонарям,
лишь письма и фотографии — и те от стыда! — горят,
в то время, как город уже демонстрирует всем подряд
самое, что ни есть скверное время суток.

Верный законам жанра, надрывается соловей,
рядом пьют водку шляхтичи неголубых кровей,
в Польше не делят публику на «шестёрок» и королей,
даже окрасив эмоции в цвет черепичной крыши.
Выйти на улицу под названием «Новый Свят»
и прогуляться к фонтану, пока все спят.
Хочется стать человеком, поворотившим вспять
крестовый поход прогресса свиданьем с Мариной Мнишек.

Она оставит вязание, сняв халат,
уместный, как послесловие к отступающим холодам,
напомнит нотную грамоту, сладкую, как халва,
споёт мне о том, что летом не жизнь — «малина»,
о том, что отец деловит, а мать — хороша собой,
и скоро забудется мелкий дождик, едва живой,
особенно, если улицы, зашторенные листвой,
тебе улыбаются... Что ж ты молчишь, Марина?

Варшава сама как избитый до слез сюжет,
как праздничная открытка с развалинами в душе,
и здесь одни только скверы по осени в неглиже,
а всё остальное с чужого плеча одето —
чиновники, шоумены, примазавшаяся рвань
и полчища местных красавиц — куда ни глянь!
И возвращает взгляду полупрозрачная ткань
знакомые очертания первых симптомов лета.

Летом казаться старше — неслыханный «моветон»
для тех, у кого образ мыслей сединами убелен.
И вечерами дурью напичканный Купидон
целится в каждое сердце, периодически мажет.
Южный загар слишком жалок на вздрагивающих плечах —
кто объяснит, почему до сих пор по ночам

ты плачешь навзрыд, оставляя свою печаль
наволочке с символическим изображением пляжа?

Если ты слышишь музыку, то, чего в жизни нет
можно увидеть воочию, не выпив, но опьянев.
Сердце Шопена, хотя бы и замурованное в стене
собора Святого Креста, совсем не пустое место.
Знаешь, Марина, нагромождение памятников и святынь
не удивительней, чем на асфальте выросшие цветы.
Ради спасенья души совершенно не стоит учить латынь,
пусть даже город Париж всё-таки стоит мессы.

3. СКВЕР ПОЭТОВ

На кухнях гудят отголоском привычек старорежимных
игривые радиоволны с дефектами речевыми.
Живая природа вне конкурса, тем более, что неживые
цветы на обоях слишком навязчиво расцвели.
Разбавь свою пресную драму интонацией оперетты,
не удивляясь дождям, просочившимся в утренние газеты.
Лучше свести знакомство с компанией местных поэтов,
гуляя в поисках счастья, продающегося в разлив.
Их сквер переполнен стихами с привкусом фатально незрелых вишен,
из них половина — гении, но здесь они явно лишние,
когда же, подсев к ней поближе, перехожу на личное,
и вечер до неприличия наполняется синевой —
поэзия выполняет функции бронежилета,
в то время, как в пепельнице уже тлеет — чужое — но все же лето.
К чему здесь все ваши верлибры, пани Эльжбета?
Я, пусть и выучив польский, не понял бы ничего,

так как чтение вслух неуместнее, чем границы
в объединённой Европе или фраза «Откройте, полиция!»
в тот самый момент, когда ты объясняешь ей, что не влюбиться
не мог, спотыкаясь в грамматике и путая времена.
Сегодня даже Мицкевич — не больше, чем просто памятник
эпохе, в засаленном смокинге ползающей по паперти.
Часы бьют полночь. Что к этому может ещё прибавить,
будто от малокровия страдающая, луна?

...Я собираюсь домой, уже не понимая, что же
делаю здесь, и какой день недели бездарно прожит,
а из-за стойки кивает бармен, немного похожий
на персонажа поэмы, которой две сотни лет.
Вспомнить бы адрес и телефон, причёску, цвет глаз — да где уж!
На изувеченной памяти проклятье лежит, как ретушь.
Завтра мне уезжать. Налейте-ка, пан Тадеуш —
вспомню дорогу к вокзалу, поеду и сдам билет.